

А. Немзер

Убийственная чепуха Михаил Михайлович Зощенко 28 июля (9 августа) 1894 – 22 июля 1958

Редкий разговор о Зощенко минует его признание: «...я не собираюсь писать для читателей, которых нет». И это правильно. Каверза прячется в союзе, пока замененном отточием.

«Бог с ними, – думаю я. Обойдусь без толстых журналов. Им нужно нечто “обыкновенное”. Им нужно то, что похоже на классику. Это им импонирует. Это сделать весьма легко. Но...»

Казалось бы, противительный союз здесь не так уж необходим. Доцитируем до конца:

«У народа иное представление о литературе. Я не огорчаюсь. Я знаю, что я прав».

Сознание собственной правоты и поддержка огромной аудитории должны снять вопрос о непонятливом редакторе, попросившем принести «обыкновенную повесть». Должны снять, но не снимают. Короткий рассказ о журнальной неудаче входит в ворох «опавших листьев»:

«Итак, я решил вспомнить мою жизнь, чтобы найти причину моих несчастий».

Рассказ называется «Снова чепуха» и отсылает к прежде описанному эпизоду:

«Чепуха, вы хотите сказать? — спрашиваю я. И в моем мозгу загорается надпись под гимназическим сочинением — “Чепуха”».

«Я получил единицу по русскому сочинению. (Отметим двуплановость последнего слова). Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами: “Чепуха”. Правда, сочинение на Тургеневскую тему — “Лиза Калитина”. Какое мне до нее дело?.. Но все-таки пережить это невозможно...»

Врач пропихивает в мою глотку резиновый шланг».

Гимназист, наказанный, скорее всего, за непочтительные суждения о высоких материях (конфликт долга и чувства, самоотвержение, лунные ночи, музыка, уход в монастырь) «проглотил кристалл сулемы». Низвергатель «литературности» поступил весьма литературно. Как, впрочем, и его антагонист, защитник «серьезности» и «жизненности». Его «чепуха» — знаменитая чеховская *geniخa* — учитель словесности и должен быть чеховским персонажем.

«Сестра поднимает кувшин с водой. Вода льется в меня. Я задыхаюсь. Извиваюсь в руках врача. Со стоном машу рукой, умоляя прекратить пытку».

Рассказ и называется: «Пытка». Картина медицинских мучений не отменяет, но усиливает второй план. «Какое мне до нее дело?..» — почти Гамлетово восклицание. Пытка. Неудавшееся самоубийство. На соседней странице рассказ «Стоило ли вешаться» — о суициде из-за неудачной любви. Вернее, о поминках в пивной, где собравшиеся вспоминают, как покойный Мишка Ф. «съел несколько обедов в университетской столовой», смеются, а после «Быстры, как волны, все дни нашей жизни» поют «Гаудеамус», «Вечерний звон» и «Дирлим-бом-бом». В мемуарных (или квазимемуарных) рассказах, вошедших в «Перед восходом солнца», любовные тяготы ритмично чередуются с писательскими. Женщины и словесность — неизбывные страсти Зощенко. Прямо как у Пушкина.

При очевидном контрасте сходство здесь разительное. Да, в отношениях Зощенко (и его героев, несвободных от психологии автора) есть страх и недоумение перед женщиной. Да, вхождение в литературу воспринималось и запечатлевалось Зощенко как мука

и пытка. Это, на первый взгляд, не похоже на пушкинскую победительность. Но! Зощенко очень быстро завоевал фантастическую, всенародную популярность, предполагающую и фольклоризацию текстов, и формирование легенды вокруг авторской фигуры. Перечень возлюбленных Зощенко (судя не только по «Перед восходом солнца», но и по мемуарным свидетельствам) мог бы соперничать с донжуанским списком Пушкина. Более того, интимные до цинизма истории его прощальной книги (и их устные эквиваленты) последовательно выстраивают образ писателя, отвечающий мифологизирующим ожиданиям публики. Они вполне сопоставимы с рассказами о любовных приключениях Пушкина, начало которым положили импровизации самого поэта. В этом плане представляются закономерными и уход Зощенко от выигрышных легких (прославивших его) жанров, и его готовность к непониманию тем самым всероссийским читателем, для которого он и пишет, и установка на внебеллетристический тип письма (история, документализм, научная проза), и пристрастие к короткой «точной» фразе, и то «примирение с действительностью», что страшнее всего сказалось в «Истории одной перековки» (часть коллективной книги о Беломорканале; позднее — «История одной жизни»). Здесь оговоримся: вражды с советской действительностью у Зощенко не было и прежде, ибо своеобразное пушкинианство писателя сложилось задолго до 1930-х годов — времени «Шестой повести Белкина».

В «Перед восходом солнца» Зощенко (как показано в замечательной книге М.О. Чудаковой) оглядывался на период своего писательского становления, в частности, на критические статьи 1919 года, в которых обнаруживается его отталкивание от «обыкновенной» словесности, как «реалистической», так и «декадентской». (Теперь эти статьи доступны, благодаря составленной Ю.В. Томашевским книге «Лицо и маска Михаила Зощенко» — М.: «Олимп—ППП», 1994.)

«Я стал вспоминать стихи моего времени.

Это были отличные стихи, отличная поэзия. Поэзия Блока, Есенина, Ахматовой.

Но какая боль в них чувствовалась! Какие печальные мелодии напевали эти поэты! Почему?

Только лишь потому, что их не удовлетворяла та жизнь, которую они имели? Тот общественный строй, который они на себе испытали? Нет, вряд ли».

Дальше Зощенко вспоминает «Грядущих гуннов» Брюсова и вновь спрашивает: почему? В мироощущении символистов он находит — заметим, не без основания — меланхолию и истерию. Зощенко не хотел совмещать в себе сочувствие к неимущим с рефлексией, самобичеванием, неуверенностью и неумением встретить жизнь такой, какова она есть. Он не хотел быть больным, ждущим смерти и одновременно ее страшущимся, выдумывающим высшие ценности и в них сомневающимся, способным лишь на помысел, а не на полноценный поступок. Он хотел здоровья, доверия к жизни, решительности, уважения к человеку. Всякому. И прежде всего, к тому, что этой самой нормальностью обладает. К тому, в чью речь он пристально и серьезно вслушивается.

Сравним два антиклерикальных рассказа 1924 года. В «Исповеди» бабка Фекла плачется попу: сын у нее неверующий. Поп расспрашивает о том, что именно говорит сын Феклы:

«— Разное! – сердито сказал поп. – А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил — откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это?

— Не говорил, – сказала Фекла, моргая глазами.

— А может, и химия, – задумчиво сказал поп. – Может, matka, конечно, и бога нету — химия все...»

В «Черте» другая бабка, возвращаясь с богомолья, свалилась в лесу, где помирать ей совершенно не хотелось, и вдруг увидела «мобиль», а при нем «представительного мужчину». Бабка, минутой раньше посулившая душу нечистому (лишь бы до родной деревни добраться), просит подвезти. Мужчина соглашается, бабка садится, «мобиль» (оказавшийся аэропланом) взлетает и доставляет бабку куда надо. И она не померла,

не записалась в партию, не перестала верить и не перешла в католичество (версии слушателей авиаторского рассказа):

«...через день после того пришла бабка в себя, очухалась, расспросила строгим образом у племянников, как это она появилась дома, и, горько заплакав, помолилась на все иконы и велела везти себя в монастырь. Там она живет и посейчас. А нам наплевать».

В том-то и дело, что не наплевать. Почему у попа из «Исповеди» (и его многочисленных «коллег» из других ранних рассказов Зощенко) нет веры бабки Анисьи? Почему «длинноусый» уступает жену Гришке Ловцову, а она идет за разбогатевшим пареньком? («Любовь»). Почему та же участь выпадает милейшему Ивану Ивановичу Белокопытову, чьей пробудившейся ярости хватает только на драку с ни в чем не повинной собакой? («Люди»). Почему обречена любовь музыканта Аполлона Перепенчука (однофамильца и двойника фельдшера, удавившегося от разочарования в жизни)? Ведь любит же его избранница, умершая за два дня до смерти несчастного несостоявшегося гения: мотив одновременной кончины идеальных возлюбленных здесь снижен, но не отменен («Аполлон и Тамара»). Эти «почему» можно множить и множить, что и делает Зощенко. Почему мы — люди старого мира — такие?

И ответом на тысячу «почему» странная снисходительность к работяге Сереге Петухову («Веселое приключение»), радующемуся наследству вовремя умершей тетки, и Володину, сумевшему опять-таки вовремя жениться и бросить ненужную жену («Сирень цветет»). В этом «мнительном и больном бывшем прапорщике царской армии, к тому же слегка контуженном в голову», «нервном и раздражительном субъекте» с трясущимися руками (таков он был прежде) угадываются сниженные автобиографические черты.

Расчет с прошлым мучил Зощенко своей неокончателностью. Он хотел войти (и вошел) в новый мир своим, но не мог забыть о том, что у него «закрытое сердце» — как у строгого деда, как у отца, рассказ о смерти которого («Разрыв сердца») соседствует с рассказом о визите деда, заканчивающимся словами матери: «— Да, наверно, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить». Он хотел ясной доброжелательной деловитости, он знал, что «беспомощные, комичные» жалобы на банные не порядки вполне серьезны, он задышался от хохота, сочиня знаменитый в будущем рассказ.

«А завтра, когда я буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду <...> Светает. Я принимаю бром (лейтмотив ненависти к лекарствам), чтоб заснуть».

Следующий рассказ — тот, с которого мы начали: «Снова чепуха».

Зощенко знает, что не он один в таком положении. Вослед «чепуховому» рассказу идет пронзительно нежная история о встрече с Есениным, о чтении в пивной «Черного человека». Есенина узнают. «Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он сидит.

Я выхожу из пивной». Потом погибший Есенин придет к Зощенко во сне. Есенин живой Зощенко очень любил. Их непредсказуемое родство (здесь важна и популярность, рождающая легенды, и борьба жизнелюбия с темным ужасом меланхолии, и интимная привязанность к «братьям нашим меньшим», и органическая устность их творений, и тоска по Пушкину) пронзительно уловил в «Четвертой прозе» Мандельштам, где сказавший «Не расстреливал несчастных по темницам» и создатель «библии труда» единственные окликаемые союзники поэта, «работающего с голоса» посреди густопсовой пишущей сволочи.

Зощенко было грустно не только в 1930–1950-х годах. Ему было грустно всегда. Но делать на основании этого понятного факта выводы о его мизантропии столь же неосмотрительно, как видеть в нем обличителя «нового советского человека», прячущего кукиш в кармане, или разрушителя культуры, глумящегося над вечными ценностями

в угоду правящей банде. Он любил людей чем дальше, тем больше. (Не так просто обстоит дело даже с «тотальной» ревизией культуры и истории в «Голубой книге».) Он жаждал ответного чувства. Потому не только радовался письмам читателей, но и, обнаруживая выборку из них, вводил чужие голоса в «свою литературу». Книга «Перед восходом солнца» была не только самоотчетом, но и попыткой объяснения другим своей боли — боли человека, который знает: я прав. И не только своей, но и боли тех, кому Зощенко столько лет пытался растолковать: баня — это серьезно, друг Васьки Бочкова — живой человек, жить надо по-пушкински — любя жизнь.

Зощенко судил себя строго. Но его самоубийственные шаги 1954 года (ответ на вопрос английских студентов о ждановско-сталинском постановлении, выступление на собрании ленинградских писателей) не были ни случайностью, ни срывом, ни недомыслием, ни даже актом вывернутой лояльности («свои» наконец поймут). В сатирических рассказах всегда видно, где речь идет о невоспитанности живого человека, а где о хамстве (последнее — реже). Что такое честь, бывший офицер, законно гордящийся пятью орденами, прекрасно понимал: защищал честь чужую — защищал и свою. Скорее всего, помня о Пушкине. Он шел на свою Черную речку, предпочитая поединок тягостной муке отпадения от мертвеющей жизни. В отличие от многих, он не хотел быть новым Гоголем.

1994